

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Подснежник



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Подснежник
Серия «Сибирские рассказы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=324482

Аннотация

«– Васька, и нет у тебя стыда ни капли... Погляди-ка ты на себя-то, на рожу-то на свою... Ох, погибель ты моя, Васька, не глядели бы на тебя мои глазыньки!..

– Мамынька...

– Какая я тебе мамынька?.. Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею. По станице идешь, так все пальцами тычут: вон Васькина мать идет. Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств?..»

Содержание

I	4
II	11
III	17
IV	25
V	33

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Подснежник *Очерк*

I

– Васька, и нет у тебя стыда ни капли... Погляди-ка ты на себя-то, на рожу-то на свою... Ох, погибель ты моя, Васька, не глядели бы на тебя мои глазыньки!..

– Мамынька...

– Какая я тебе мамынька?... Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею. По станице идешь, так все пальцами тычут: вон Васькина мать идет. Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств?..

– Мамынька...

– И не смей ты этого самого слова выговаривать, а то проклянущу... Лучше уйди с глаз долой...

Страшный контраст представляли эти два споривших голоса, старая казачка Ульяна так и дребезжала, точно треснувшее стекло, а грубый голос Васьки гудел такой полной нотой, как гудит ворвавшийся в комнату шмель. Впрочем,

достаточно было взглянуть на действующих лиц, чтобы понять эту разницу: высохшая, как щепка, Ульяна казалась девочкой рядом с своим сыном. Он сидел на лавке в накинута на плечи татарском азяме и в белой войлочной киргизской шляпе на голове; красная кумачная рубаха врезалась воротом в красную могучую шею, а из широких киргизских кожаных шаровар, расшитых когда-то шелком, выставлялись голые ноги. Удивительный был человек этот Васька; он казался каким-то выходцем среди остальной человеческой мелочи, точно сорвался с какого-нибудь свитка увертливого московского подьячего, где означены были такие приметы: «волосом рус, кудреват, борода тоже русая, окладом надвое, над левой бровью к носу сечено на-полы да затерто зельем, глаза быстрые, из себя кряжист» и т. д. Такие молодцы родились только в разинской Руси, и сама Ульяна не могла дать толку, в кого мог Васька уродиться таким богатырем.

– Мамынька, а... дай двоегривенный...

Именно этого и ждала Ульяна и вся точно вскипела: этакий лоб пришел обирать у матери последние деньги! Легкое место сказать: двоегривенный... Ведь ей, старухе, и в неделю его не выработать на пряже или полотьем гряд, а он все равно снесет его в кабак, двоегривенный-то. Взбешенная этой просьбой, Ульяна кинулась к сыну с кулаками.

– Двоегривенный, а?... – визжала она, наскაკивая на своего богатыря. – Ты думаешь, я на тебя и управы не найду... а?... Сейчас побегу к атаману... Будет мне терпеть от тебя!

Старуха бросилась к двери, но вернулась и опять кинулась на Ваську с какой-то яростью, как раненый зверь.

– Да ты с кем разговариваешь-то, беспутная голова! – уже хрипела она и ловким ударом по затылку сшибла белую шляпу с Васькиной головы. – Бога-то хоть побойся... лезешь в шапке в избу, как орда какая...

Васька покорно нагнулся, чтобы поднять с полу шляпу, и свесившиеся русые кудри закрывали его лицо до самых усов. Разогнувшись, он исподлобья посмотрел на мать, движением головы откинул волосы назад и, улыбнувшись, проговорил:

– А ты погляди, мамынька, вот на это...

Скинув с правого плеча азам, Васька открыл висевшую, как плеть, руку: красная рубаха была разорвана, и на самом плече вздулся сине-багровый пузырь с кулак величиной. Ульяна только жалобно ахнула и зашаталась на месте.

– Васенька, голубчик, кто это тебя изувечил? – закричала она, привычным глазом осматривая кровоподтек. – Ах, разбойники!.. Ужо я тебе разотру в бане да травки приложу. Кость-то хоть цела ли осталась, а мясо заживет... Ах, разбойники, душегубцы проклятые!..

– У башкыр на байге¹ был... – бормотал Васька виновато. – Ну, так оглоблей и зацепили... В голову, подлецы, метились, да только промахнулись.

Я был единственным свидетелем этой сцены, потому что занимал небольшую комнату рядом. Собственно говоря,

¹ Байга – скачки у башкир.

первая ее половина представляла довольно заурядное явление, потому что Васька частенько завертывал к матери за двоегривенными и получал безропотно жестокую головомойку, но теперь весь интерес сосредоточивался на неожиданном финале. Когда я показался на пороге, Ульяна жалобно запричитала, – свое, домашнее горе при постороннем человеке казалось еще больнее.

– Перестань выть, – останавливал ее Васька. – Не велика важность... Не это видывали...

– Где это тебя, Василий, угораздило?

– Да так, неустойка небольшая вышла... Уж и здоров же башкыретин попался мне: дерево дубовое. Как звезданет оглоблей...

– Ты бы к доктору съездил, – посоветовал я, с ужасом разглядывая синий пузырь на плече.

– Ничего, так износим... Вот мамынька разотрет в бане да травкой полечит.

– И то полечу, – упавшим голосом повторяла за сыном убитая горем Ульяна. – Есть и травка такая...

Как все старые казачки, Ульяна умела лечить всякие ушибы и раны, – в прежние времена, когда под Уметом проходила «линия», без этого было нельзя. Увлечшись медицинскими соображениями, старуха позабыла о «двоегривенном», а только охала и быстро что-то искала по разным печуркам, на полатах и в сундуке под лавкой. Нужно было видеть, с какой ловкостью Ульяна принялась растирать ушибленное место,

а потом перевязала его.

– Ну и башкыретин попался! – бормотал Васька, покручивая кудрявой головой. – Ка-ак размахнется... ну и черт!..

Когда перевязка кончилась, в руках у Васьки появился точно сам собой двоегривенный, – это сунула Ульяна, уже без всякой просьбы, точно она хотела утешить поврежденное детище. Она выскочила за ворота, провожая уходившего в кабак Ваську. Он и шел не так, как другие, по самой середине улицы, волоча по пыли одну полу азяма. В дверях кабака ждала возвращения Васьки кучка кабацких завсегдатаев. Когда низенькая, расщелившаяся и захватанная грязными руками кабацкая дверь проглотила могучее Васькино тело, Ульяна вернулась в избу и, повалившись на лавку, глухо зарыдала. Нужно же было выплакать свое старое горе, свою материнскую любовь и женскую беспомощность.

Эта живая картинка с натуры расстроила обычный порядок моего дня. Я долго ходил по комнате, прислушиваясь к подавленным всхлипываниям Ульяны, и какое-то тяжелое и гнетущее чувство мешало приняться за обычную работу, точно и комната сделалась вдруг меньше, и воздух сперся, и какой-то мертвой истомой дохнуло в открытое оконце с накаленной летним степным солнцем улицы. В такие жаркие июльские дни станица Умет точно вымирала. Даже станичные собаки и те исчезали неизвестно куда. Действительно, степное солнце жжет так немилосердно, что не хочется двигаться, да и некуда, если бы даже явилась к тому охота, –

кругом станицы разлеглась ковыльная степь, желтым ковром уходившая из глаз. Лес был вырублен самым безжалостным образом, и кизяк служил единственным топливом. Дождя не было уже около двух недель, и солнце по утрам поднималось в дымном мареве, красное и громадное, точно только что раскаленное где-нибудь в кузнечном горне. Жизнь в станице проявлялась только по утрам и вечерам, когда спадал степной зной.

– Ульяна, поставь мне самовар, – проговорил я наконец, чтобы хоть этим отвлечь внимание бедной старухи от ее горя.

– И то поставлю, барин, – отозвалась она своим обычным заботливым тоном. – Вон какая жарынь на дворе... Спалило совсем.

К особенностям Ульяны принадлежала способность необыкновенно быстро двигаться, хотя старухе было уже под семьдесят. Когда она спала, я не знаю, потому что в течение двух недель постоянно видел ее на ногах. Домик Ульяны в станице был лучшим, и я занимал в нем отдельную комнату, убранную с некоторой претензией на удобства. Беленая печка, деревянная кровать за ситцевым пологом, зеленый шкаф для посуды, оклеенный обоями передний угол и несколько деревянных стульев говорили о лучших временах, когда еще был жив муж Ульяны, станичный атаман. Она была дочерью атамана и вышла замуж за нового атамана. Впрочем, это было только одно громкое слово, так как станичные атаманы

оренбургского казачьего войска мало чем отличаются от других рядовых казаков.

II

За самоваром по вечерам у нас с Ульяной велись длинные, душевные разговоры. Старушка любила чай, но должна была отказывать себе и в этом единственном удовольствии, потому что какие старушечьи недостатки, а от Васьки немного поживишься. Поставленный в неурочное время самовар сейчас являлся для Ульяны лучшим утешением, хотя она, по обычаю, из вежливости и отказывалась от чая. В этой высохшей старушке было так много деликатности и какой-то детской застенчивости, чем она мне особенно нравилась. Глядя на нее, так и казалось, что это уже не человек, а одна тень, – жизнь оставалась позади, в далеком прошлом. Переходы от одного чувства к другому совершались в ней тоже с детской быстротой, и, выпивая вторую чашку, Ульяна уже улыбалась.

– Васька-то, беспутный, на какого башкыретина натакался! – повторяла она с улыбкой, покачивая маленькой головкой, как у сушеной рыбы, точно говорила о ком-то постороннем. – А не ходи на байгу, не связывайся с ордой... Все равно уходят когда-нибудь, – прибавила она уже совсем равнодушно.

– Кого уходят, бабушка?

– А его же, Ваську... Не сносить ему своей головы, потому как сам везде лезет. Какой-то он смешной, право... Вот этак живет-живет в станице, год живет, два живет, а потом придет

и говорит: «Мамынька, уйду я от вас... провалитесь вы совсем и с вашей станицей... Тошно мне и глядеть-то на вас». Ну, и уходи, коли тошно. А я уж знаю его повадку: уйти-то уйдет да и воротится, беспременно воротится. Тянет его в станицу... Теперь вот огоревал себе меленку, так сколько поживется. Кабы у Васьки ум был, так как бы он жил-то... ох-хо-хо!.. В степе он гурты гонял, так приехал домой о двуконь, седло в наборе серебряном, на самом два шелковых халата, и мне привез шелковый платок. Тоже, значит, вспомнил мать-то... Право, такой отличный платок. Ну, а потом все и пропил и платок дареный у меня же из сундука выкрал. За этот самый платок ему же и досталось: замертво привезли... Ох-хо-хо! Сижу вот этак же под вечер у окошка, пряду шерстку, а Ваську на телеге и привозят. Так меня всю и захолонуло... Выскочила, гляжу, а он совсем мертвый, а от лица и званья нет. Одежда на ем вся испластана, сам в крови, глаза опухом зянуло, лежит в телеге и не шевельнется. Так замертво и в избу внесли... Уж я его обихаживала-обихаживала: и мыла, и натирала, и мазью мазала, и в бане по три дня с одной старушкой правила, – нето-нето, мой Васька одыбался. Вот он какой, утешитель-то мой. А как открыли у нас вблизи золото да пошли промысла, так и способов никаких с Васькой не стало. Этак же вот одинава его в шахте нашли: ни рукой, ни ногой... Опять я же его налаживала. Стану его спрашивать: «Кто тебя, Васька, убил?» Молчит. Крепкий он на язык, не обмолвится. Сегодня вот про башкыретина сказал, а то го-

ловой своей беспутной тряхнет – и весь тут наш разговор. Взъедаюсь я на него, и сильно взъедаюсь, а в другой раз и согрешу – пожалею... Своя кровь, а материнское сердце зла не помнит. Да и какой-то он, Васька-то, особенный уродился: все люди как люди, а его ни к чему не применишь, точно он заговоренный.

Ульяна несколько раз во время своего рассказа принималась плакать, а потом смеялась сквозь слезы и переходила к новым подвигам своего беспутного Васьки. Но это была, так сказать, экстраординарная тема, вызванная исключительными событиями, и, когда материал исчерпался в достаточной степени, старушка перешла к наклонной плоскости своих старушечьих воспоминаний – главный предмет наших чайных бесед. Да и было о чем вспоминать Ульяне, этой пожелтевшей странице станичной летописи. Она помнила еще то время, когда на Умет нападали киргизы, то есть не на самую станицу, а на людей в поле.

– Как же, наезжала эта орда на нас, и баушку мою с матерней стороны киргизы в полон увели, – рассказывала Ульяна. – Попа тоже тогда в полон увели, а чтобы он не убежал, так сило (конский волос) настригли, разрезали попу пятки, да в пятки и насыпали. Когда я еще совсем девчонкой была, так одного нашего казака киргизы вон на том увале копьями скололи... Березнячок тогда рос по увалу-то, ну казак и идет по нему с покоса, а на них киргизы и наехали. Жена-то побежала, а казак на киргизов бросился, чтобы ущитить жену,

ну, а они его искололи копьем, На другой день его еще живого привезли. Я бегала посмотреть: лежит в телеге и стонет, а из-под телеги кровь каплет... Кончился через день. Комендант у нас дрянной был, и солдаты все какие-то беззубые да кривые. Ну, он, комендант-то, заместо того, чтобы оборонять вдову, ее же за кыргыза Измаила замуж отдал, потому она стала бы просить свою вдовью часть с него, с коменданта-то... Измаил-то и убил казака, а комендант ему вдову отдал.

– Да ведь Измаил-то не нашей веры был, так как православную отдавать за него?

– Говорю: дрянной комендант был... Линия-то тогда близко проходила под Уметом, ну, казаки и мешались с ордой: то наши девок-кыргызок, то кыргызы увезут наших девок. Дрянной был комендант...

Старая казачка часто повторяла одну и ту же фразу, точно пережевывая ее, а потом мысль, как ночная птица, делала неожиданно быстрый поворот к настоящему и прежде всего, конечно, к беспутному Ваське. Раньше бы родиться ему, Ваське, когда кыргызы на линию наезжали, в самый бы раз Ваське с кыргызами воевать, а то теперь также напрасно погибнет где-нибудь у кабака...

Летосчисление Ульяна вела по пожарам: большой пожар был лет двадцать назад, а поменьше – лет десять тому времени. Когда в девушках была, тоже вся станица выгорала раза два, а самый большой пожар случился в тот самый год, когда

Ульяна «привела в дом жениха» – она была богатая атаманская дочь и жениха брала в дом, на все готовое. Последний пожар был прошлым летом, – половину станицы как языком слизнуло. Прежде хоть строиться легко было – лес под рукой, а нынче ближе ста верст жерди не найдешь. Вот Ваське на пожарах так цены нет, – кабы не он, так у ней изба уж давным-давно сгорела бы.

– С промыслами у нас народ совсем истварился, – рассказывала Ульяна. – Как пошло это золото по станицам, так все точно белены объелись... На моих памятях все дело было. Жили мы тут по старине, как еще отцы и деды наказывали, а тут вдруг золото... Точно кипятком народ-то обварило. Лет этак с пятьдесят, как золото началось в степе: сначала в Кочкаре оно объявилось, а потом до нас дошло.

Мужики-то все на промыслы бросились, а за ними и бабы поволоклись... Ох-хо-хо!.. До Умета золото дошло перед большим пожаром... Ну, мой-то Васька чем хуже других: на промыслах вконец изболтался. И теперь, сказывают, краденое золото скупает, только достигнуть его не может канпания. Давно его следует, а соследить не могут, потому как у вора одна дорога, а у выследчика целых сто. Горе наше казачье с этим золотом... И как будто денег много зарабатывают, а бедность еще больше. Народ истварился совсем, из кабака не выходят, а это какой же порядок? Землю запустили, от крестьянской работы отбились, одна надежда на золото... Канпания эта подсунулась, землю в аренд забрала. «Мы, –

говорят, – вас кормим»...

III

Казачья станица Умет, раскидавшая свои избенки по берегу степной реки Уя, являлась сама по себе своего рода сфинксом: для чего она существует и как существует – для обыкновенного разума неразрешимая задача. Когда-то давно, когда вводили баушку Ульяны в полон, она еще имела значение, а сейчас решительно никакого, как сотни других казачьих станиц, раскиданных в земле оренбургского казачьего войска. Ради курьеза можно отметить хлесткие названия некоторых станиц: есть казачий Париж, есть Берлин, Кацбах, Ульм и т. д.

Река Уй выпадает с южного Урала и уходит в степь. По ее безлесным берегам рассажалось много казачьих станиц, а между прочим, и Умет. Место для этой станицы выбрано открытое, вольное, и только с одной стороны она прикрыта увалом. Кругом поля, луга и ковыльная степь. Станичное строение издали и вблизи имеет самый жалкий вид, как любая русская деревушка, – я говорю: русская, в отличие от громадных, семиверстных сибирских сел. Прежде всего резало глаз отсутствие всякой зелени – ни кустика, ни деревца, вообще хоть шаром покати. Казаки в этом случае перещеголяли даже башкир, которые оставляют лес хоть на своих кладбищах и вообще над могилами. Благодаря недостатку в строительном материале избы выстроены из березовых жер-

дей и хозяйственные пристройки состоят из одного плетня. Сверху все это прикрыто соломой. Из этого общего описания можно себе представить внешнюю красоту этих казачьих Парижей и Берлинов, которые издали походят просто на неправильно раскиданные по полю кучи навоза. Печи делаются из битой глины кое-как, трубы поэтому лопаются, а отсюда вечные пожары казачьих станиц, пожары, которые несколько не способствуют к их украшению, как это случается в деревянных русских городах. Если мазанки и плетни до известной степени красивы в Малороссии, где и климат другой, и притом везде вы встретите зеленый садочек, прикрывающий хохлацкое убожество, то здесь, в степи, эти плетни и березовые избы просто жалки.

В Умете лучшим домом была изба Ульяны, поставленная еще в доброе старое время. Она сохранилась от постоянных пожаров каким-то чудом, а отчасти благодаря тому, что была поставлена на углу станичной площади. Внутри она делилась на две избы, – в одной жила сама хозяйка, а другая отдавалась внаймы. Последнее явилось статьей дохода только в последнее время, когда открыли золотые промыслы и по станицам начали шнырять разные юркие люди, искавшие легкой наживы. Кто даст двугривенный, кто тридцать копеек, а кто и целый рубль – в станице это большие деньги, и Ульяне завидовали все другие казачки. Да и как было не завидовать, когда добычливость ограничивалась своим домашним делом, а деревенской бабьей работе вся цена – расколотый

грош.

Жизнь казачьей станицы летом напоминает тяжелый ледяной сон, нарушаемый только буйными возгласами кабацких завсегдатаев. Чувствуется какое-то изнеможенное бессилие и беспричинная степная апатия. День прошел – и слава богу... Если есть известное движение и стимул к такому движению, то это золотые промыслы, где кишмя кишат неведомые люди, жадные до степного золота. Достаточно сказать одно то, что эти таинственные незнакомцы сумели расшевелить даже казачью мертвую лень. При наделе в 15–30 десятин на душу великолепного чернозема оренбургский казак ухитрился добиться чисто башкирской бедности и с радостью отдает в аренду свой чернозем по 20–50 копеек за десятину, и вдруг он же, этот казак, идет на тяжелую промысловую работу. Секрет здесь в том, что у всякого есть расчет на легкую поживу, как в азартной игре, а пока этот всякий довольствуется и грошами. Другой расчет в том, что хлеб жди, когда еще он уродится, а уродился хлеб хорошо, так цена ему грош, а на промыслах расчет каждую неделю, и ленивый раб несет выручку прямо в кабак.

В течение какой-нибудь недели жизнь станицы, со всей ее внешней обстановкой и подводной частью, как на ладони – дальше и знакомиться не с чем, кроме бесконечных рассказов какой-нибудь Ульяны. Остаются промыслы, где жизнь кипит. Вечерком нет-нет да кто-нибудь и заглянет из промысловых служащих. Есть у меня среди них один приятель

– Павел Митрич, который бывает чаще других и приносит с собой последний запас новостей. Это рослый и красивый молодец с кудрявой головой и смелыми глазами. Он прошел всю лестницу разных промысловых обязанностей, а теперь занимает совершенно фантастическую должность «преследователя хищников», то есть ловит рабочих, тайно промышляющих золото в даче компании. Каждое утро и вечер на горбоносом буланом коне Павел Митрич объезжает опасные пункты и частенько возвращается с добычей. Помню, раз в воскресенье я зашел в приисковую контору, – она стояла верстах в двух от Умета, на противоположном берегу Уя. Собственно говоря, это была почти лачуга или сарай, так что громкое название «контора» резало ухо. Не успел я поздороваться с дежурившим служащим, как на широкий конторский двор с треском влетела крестьянская телега, за которой неслись в карьер Павел Митрич и его верховая стража. В телеге кто-то лежал и громко стонал.

– Хищника привезли!.. – пронеслось по всем избушкам, окружавшим контору. – Павел Митрич хищника поймал...

Когда я вышел на двор, телега была окружена уже целой толпой. Тут сбежались и служащие, и прислуга, и рабочие, и разная безыменная приисковая челядь.

– Ох, убили!.. Ба-атюшки, убили... – стонал хищник в телеге.

– Врешь, шельмец!.. – ругался Павел Митрич, медленно слезая с своего буланка; он имел сегодня особенно торже-

ственный вид, как герой дня. – У всех у вас одна повадка: убили... Ну-ка, ребята, поднимите его, сахара!..

Десятки рук бросились к телеге, и «сахар» предстал перед публикой в образе тщедушного мужичонки, босого и без шапки. Со страху у бедняги подгибались колени, и вообще он имел жалкий и несчастный вид, никак не вязавшийся с таким вредным словом, как «хищник». Сквозь толпу протискался точно из-под земли взявшийся Васька, схватил хищника своей железной рукой за плечо, встряхнул и торжественно поволок в контору. Мужик опять заохал и как будто весь сжался. Помню это запекшееся на солнце лицо, точно вылепленное из глины и растрескавшееся, как глина, убитый взгляд слезившихся серых глаз, узкие плечи, болтавшийся на них заплатанный кафтанишко и необыкновенно длинные руки, – рядом с Васькой хищник походил на мокрую курицу.

– Развяжите ему руки! – командовал Павел Митрич, в волнении шагая по конторе.

Хищника развязали и посадили на железный сундук с кассой. Он опять заохал.

– Я тебе покажу, стервец!.. – кричал Павел Митрич. – Еду мимо Голиковского разреза, а он сидит у воды с ковшом и промывает пески... Да, с ковшом. Где ковш? Вот этот самый. Как увидел меня, сейчас бежать. Каков? И убежал бы, если бы я не верхом был. Я знаю их повадку, и меня не проведешь... Прямо в разрезе сидит, и ковш в руках!.. Не-ет, голубчик, у меня не уйдешь... покажу! У меня суд короткий...

Пока составляли подробный протокол, Павел Митрич все время бегал по конторе и с азартом повторял все одно и то же. Он совсем вошел в роль «преследователя хищников» и выступал каким-то петушиным шагом. А хищник понуро сидел на железном сундуке и все охал, придерживая одну руку.

– Ну, будет тебе два неполных... – шутил Васька, похаживая около хищника с видом заплечного мастера. – Туда же, золото воровать!.. Ах ты, мусор!..

– Молчи, кошма! – огрызнулся хищник и сейчас же застыл.

Кошма – ругательное слово для всех оренбургских казаков, и поэтому Васька сейчас же вскипел.

– Павел Митрич, позволь мне уважить его, – просил он, засучивая рукава.

– Оставь!

Я не дождался конца этой тяжелой сцены и ушел.

Встретив через несколько дней Павла Митрича, я осведомился относительно дальнейшей судьбы пойманного хищника.

– Ах, да, тот?.. – равнодушно ответил Павел Митрич и махнул рукой. – Составили протокол и отпустили на все четыре стороны... Золота при нем не нашли, значит, тащить к мировому не стоит: только время даром потеряешь...

– Охота вам так беспокоиться из-за пустяков!

– Нельзя, служба, а второе – и им, подлецам, тоже потачки нельзя давать. Да...

– Да ведь Голиковский разрез давно выработан и брошен, так что же он мог достать со своим ковшом?

– Оно, конечно, ничего не достанет, а все-таки нельзя; компания требует преследования хищников. Позволь одному, а за ним сотня их является. Со мной раз какой случай был... Я тогда еще пешком ходил по промыслам – возьму ружье и иду. Раз этак иду и вижу: двое башкир сидят в разрезе и полощутся с ковшами. Я к ним, а они от меня. Да... Я за ними, а они бегом в гору и всю снасть за собой волокут. Хорошо... Я как из одного ствола выстрелю, конечно, на воздух – они пали, побросали лопаты и ковши да опять в гору. Они-то босиком дуют, а мне в сапогах за ними не поспеть. Очень уж трусливый народ и боится выстрела до смерти... Я как царапну из другого ствола, они опять на землю пали, а потом вскочили да, как зайцы, в разные стороны бросились. Так и ушли... Что, по-вашему, это красиво?

– А что?

– Нет, я-то в каких дураках остался? Башкиришки убежали и надо мной же, поди, посмеялись. Нет, с этим народом нельзя без строгости.

Павел Митрич, минуя его специальную обязанность, сам по себе был премилый человек. Собственно говоря, и его должность носила скорее комический характер, как в приведенном примере. Казаки отдавали компании свои земли на самых льготных условиях и потом сами же шли в кабалу к компании, сдавая ей добытое золото за полцены, – кто тут

прав и кто виноват, судить трудно. Башкиры так же делают: сдадут в аренду свои земли за бесценок, а потом сами же идут наниматься к арендатору в работу.

Свободное время, которого оставалось у Павла Митрича достаточно, он посвящал охоте, и мы изъездили и исходили с ним много места. Степная охота неважная, но все-таки развлечение.

IV

Незадолго до моего отъезда из Умета рано утром завернул ко мне Павел Митрич и, постучав в окно избы нагайкой, проговорил:

– Поедемте на мельницу к Ваське... У него на пруду пара диких гусей живет в камышах.

– Как же мы поедем: верхом на одной лошади?

– До конторы, а там возьмем коробок и закатимся. Васька хотя и плут, и я давно слежу за ним, но гуси-то не виноваты, что он краденое золото скупает.

– Совершенно верно...

До Васькиной мельницы было верст пять, так что не стоило обращаться в контору. Я отправился пешком, а Павел Митрич ехал за мной верхом. Дорога шла вниз по Ую, через заливной луг. Ранним утром степь полна своеобразной прелести, – краски блещут еще ночной свежестью, даль уходит из глаз радужным туманом, и воздух дышит застоявшимся тяжелым ароматом пахучей степной травы. Желтоватые султаны ковыля точно проросли алмазными искрами – это ночная роса; в воздухе невидимо гремит жаворонок, над головой в недосыгаемой выси неподвижными точками стоят степные ястреба, а солнце поднимается такое большое и совсем без лучей. День будет знойный, и вперед чувствуешь во всем теле наливающуюся истому.

– А я его, Ваську, все-таки достигну, – задумчиво повторяет Павел Митрич, распуская поводья, – потому не скупай нашего золота... да. Он думает, что дураки круглые и черт ему не брат. Погоди, голубчик...

– Как же это так, Павел Митрич: вы его выслеживаете, то есть Ваську, а он бывает у вас в конторе, и мы сейчас едем к нему же в гости?

– Это ничего не значит: хлебцем вместе, а табачком – врозь. Он свою линию ведет, а мы свою... Я ему давно, черту, говорю: «Васька, не уйдешь ты от моих рук». Да... У нас это просто.

Через час показалась и Васькина мельница, выглянувшая на нас из-за крутого мыса. Уй был перегорожен широкой плотиной, и река красиво разлилась в плоских берегах, затянутых камышом. Самая мельница «раструска» имела довольно жалкий вид и стояла даже без крыши, как приготовленный к постройке сруб. В десяти шагах от нее красовалась вросшая в землю избенка, – она была также без крыши. Покачнувшийся плетень и соломенный навес дополняли хозяйственную обстановку мельника.

– Ишь, подлец, какое место убойное облюбовал! – ругался Павел Митрич, свешиваясь в седле по-киргизски на один бок. – Он у нас, как бельмо на глазу сидит, потому рабочим до его мельницы с промыслов рукой подать... А гусей мы у него все-таки залобуем!

Мы нашли Ваську дома. Он сидел в своей избенке перед

самоваром в обществе какого-то башкира и того самого мужичонки-хищника, которого Павел Митрич недавно представлял в контору с такой помпой.

– В гости к тебе приехали, – заявил Павел Митрич, входя в избу. – Ну, здравствуй...

– Мы гостям завсегда рады, Павел Митрич, – степенно ответил Васька, протягивая свою невероятной величины длань. – Милости просим, господа почтенные... Уразайка, поставь-ка нам самоварчик!

Башкир молча поднялся и, расставив широко руки, бережно вынес самовар из избы. Это был высокий и ражий детина с удивительно плоской рожой, на которой два узких черных глаза точно заблудились. Одетый в национальные лохмотья, он казался еще могучее самого Васьки.

В избушке было голо, как на ладони. Только на стене висело дрянное тульское ружье, да в углу валялся татарский аязм. Единственная лавка и стол в переднем углу составляли всю меблировку.

– Ну и дворец у тебя! – говорил Павел Митрич, отыскивая место, куда бы положить свою фуражку. – Не стесняешь себя мебелью-то...

– А на что она мне, ваша мебель: и так хорошо. Кому надо, так и моей избушкой не брезгует. Тоже и нас добрые-то люди не обегают, Пал Митрич...

– Вижу, вижу... Это мой хищник-то? – ткнул Павел Митрич на сидевшего у стола мужика.

– Он самый, Пал Митрич... Надо же и ему куда-нибудь деться, вот он и пришел ко мне.

– Так, добрый ты человек... А башкыра где подцепил?

– Башкыра? – переспросил Васька и, почесав могучий затылок, улыбнулся. – А это мой приятель будет... На байге-то тогда он самый оглоблей меня и хлестнул. И здоров же из себя, Пал Митрич, а мне любопытно... Вот чаем его накачиваю за ловкую ухватку, что Ваську умел садануть оглоблей... Илюшка, ты бы вышел из избы, а то Палу Митричу и глядеть-то на тебя обидно, – прибавил Васька, обращаясь к молча сидевшему хищнику. – Выдь на улицу да погляди, где у меня лошадь запропастилась...

Мужик покорно вышел из избы, пряча рваную шапку за спиной, точно он ее только что украл.

– А мы за твоими гусями пришли, – говорил Павел Митрич, довольный оказанной любезностью.

– Что же, доброе дело, а гуськи точно что есть... К самой мельнице третьева дни подплывали... Жирные они сейчас...

Рука у Васьки еще плохо зажила, и он обходился пока одной левой. Сегодня он имел вообще такой степенный вид, а кудрявые волосы были даже расчесаны и намазаны коровьим салом. Ситцевую розовую рубаху Васька как-то по-детски подвязал гарусным пояском, а на ногах у него красовались мягкие татарские сапоги с расшитыми зеленой бухарской шагренью задками. Вообще щеголь хоть куда, а деревенские бабы от Васьки «решились ума», как говорила Улья-

на, качая своей маленькой головой. Держался он просто, но с достоинством человека, выдавшего лучшие дни. За чаем сначала разговор плохо вязался, и Васька больше отмалчивался, разглаживая свою кудрявую бороду.

– Ну, а как ты нынче насчет женского пола? – шутил Павел Митрич, подмигивая. – Прежде большой охотник был...

– Пустой это предмет, Пал Митрич, – строго ответил Васька и даже благочестиво отплюнулся. – Прямо сказать: страм...

– Не любишь? Ха-ха... – заливался Павел Митрич, вытирая лицо платком. – Помнишь, видно, как дробью стреляли...

Васька скосил глаза на меня и укоризненно покачал своей головой: эх, дескать, Пал Митрич, разбалакался не к месту при чужом человеке!

– Ничего, былъ молодцу не укор, – успокаивал его Павел Митрич. – Да и дело самое житейское... Он тебя где стрелил-то?

– Кто?

– Ну, перестань прикидываться.

– Да я что, мне все равно... А только к тому говорю, что меня, может, сколько разов и дробью и пулей стреляли, так и перепутать не мудрено.

– Я про Маланьина мужа говорю, в Умете.

– А... Что же, было дело, Пал Митрич. Я, значит, в клети с Маланьей-то со своим делом, а муж шасть домой. Ну, зима,

я в полушубке был, а он забежал в избу, ухватил ружье со стены да как полыхнет меня прямо в брюхо – против сердца метил, да обнизил... Только и всего...

– У него и теперь весь заряд в животе сидит, – объяснил мне Павел Митрич, заливаясь смехом. – Из пушки не прострелишь...

– К ненастью чувствую ее, дробь-то, как она по брюху начнет перекатываться, – серьезно объяснял Васька. – В таком роде, как горох... Ежели бы у меня была кость жидкая, так прямо бы насквозь, а то стерпел.

– Так ты бежать из клетки, а Маланьин муж тебя прямо в упор: бац?! – переспрашивал Павел Митрич. – Ох, согрешишь с тобой, Васька... Ты расскажи-ка нам, как сам-то кыргыза порешил под Троицком.

– Опять ты напрасно, Пал Митрич: ничего я не знаю...

– Да перестань отпираться! Этакая глупая привычка, точно ты у следователя.

– Лошадь у меня в те поры действительно была хорошая, Пал Митрич, – заговорил Васька с серьезным видом, – а про кыргыза, вот как перед истинным Христом, не покаюсь... Сам ничего не знаю! Тогда я с гуртом из степи шел, ну, под Троицким остановились пожировать. Хорошо. Я – в Троицк, да там и заболтался.

– Вожжа под хвост попала?

– Около того... Только ночью ко мне подручный и приискал: «Кыргызы гурт отвивают»... Ну, я сейчас пал на ло-

шадь, левольвер за пазуху и качу. Ах, хороша была лошадь, Пал Митрич! До гурта-то больше десяти верст я с небольшим в полчаса сделал. Пастухи мечутся, как угорелые, и объяснить ничего не могут, а только показывают, куда кыргызы моих баранов отогнали. Ночь – глаза выколи... Я за ними один бросился, потому надеюсь, что лошадь меня вполне оправдает. И действительно нагнал. Кричу: стой!.. Их трое, и все конные... Лопочут по-своему, а я понимаю ихний-то разговор; кунчать башка мне хотят. Ах, псы! Я сейчас на них да из левольвера... Убил кого, нет, ничего не знаю, а баранов привел всех назад. Только всей моей и причины было, что больно уж лошадь хороша у меня была...

– Одним словом, порешил, Васька... Нехорошо отпираться: дело прошлое.

– Ничего не знаю, Пал Митрич. Напраслиной обносите меня, как вот и насчет вашего золота...

– Ну, уж насчет золота-то мы сами знаем, что знаем, а тебе быть на веревочке. Уж это, брат, верно, как в аптеке...

– Ловите, а поймаете – ваше счастье.

– И поймаем... Дай срок, не увернешься.

– Н-но-о?.. Перестань, Пал Митрич, пужать, а то как раз застращаешь мужика. Робок я больно, того гляди, занеможетя...

Охота у нас вышла неудачная. Гуси сильно сторожились и не допускали даже на два выстрела, несмотря на самое усиленное старание. Кончилось тем, что они поднялись и улете-

ли по направлению к одному из степных «озеринок».

V

В последний раз я видел Ваську накануне отъезда, когда он поздно вечером пришел пьяный к матери с своей обычной просьбой о деньгах. Повторилась с небольшими вариациями уже известная читателю сцена.

– Да у меня припасено для тебя? – кричала визгливо Ульяна. – Тогда пожалела, дала, а ты, может, и руку нарочно сам извел...

– Мамынька...

– Уйди с моих глаз долой!..

Чтобы удержаться и не дать двугривенного, Ульяна придумала новое средство: она оставила Ваську сидеть в избе одного, а сама ушла куда-то в соседи. Васька сидел на лавке, раскачиваясь из стороны в сторону, и время от времени повторял:

– Мамынька... а мамынька!.. Мамы-нька...

Мне надоело слушать эти возгласы, и я вышел сказать, что старухи нет дома. Васька с удовольствием посмотрел на меня мутными глазами и проговорил:

– А помнишь гусей-то?.. Попытал меня тогда Пал Митрич, насчет золота пытал, а оно тут было... было на двух ногах и из избы ушло... Вот как у нас!.. Я, может, этого ихнего золота в год-то через свои руки пропушу не один пуд, а только у Васьки ничего нет... Плевать мне и на ихнее золото!..

Да... Будет, шабаш... Брошу станицу и уйду куда глаза глядят. Надоело... Мамынька, а?..

– Да нет ее, ушла.

– Уйду, брошу все... – бормотал Васька, мотая головой. – Все одно, где ни пропадать...

– Отчего ты на одном месте не хочешь устроиться?

– А тошно мне... устраивался сколько разов: одежду справлю, лошадь заведу, денег накоплю, а потом и прорвет. Для чего?.. Не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Сила во мне непреоборимая ходит, ну и тоскуешь, потому как есть деваться мне некуда. Вот еще к месту своему тянет... мать-старуху тоже жаль... Плачется она на меня, а мне ее жаль. Мамынька родимая, прости ты меня, дурака!.. Земля меня не носит – вот я какой проклятый человек!

Васька сидел у стола, облокотившись на него руками. С последними словами он уронил свою кудрявую голову на руки и глухо зарыдал. В окно глядела ясная месячная ночь, и где-то далеко перекликались журавли.

Через год мне случилось проезжать через Умет. Я велел ямщику везти меня к Ульяне.

– Да нету ее, твоей Ульяны, – ответил ямщик.

– Как нету?

– А уж так... По осени-то другая половина Умета выгорела, ну и ее изба тоже. Захудала сильно старуха, а силы уж нету. Так кой-как перебивалась, сердяга: где день, где ночь.

А по весне-то к святым местам ушла.

– А Васька где?

– Васька? И его нету...

– Тоже ушел куда-нибудь?

– Ушел-то он действительно ушел из станицы: ни слуху ни духу... А Ульяна одно твердит: воротится к своему месту.

Чуяло ее сердце, что близко он. Подснежником и объявился Васька по весне...

– Каким подснежником?

– А по весне, значит, когда снег тает, так мертвяки и оказываются, ну, мы их подснежниками зовем, потому как из-под снега они объявляются. Так и Васька... Недалеко от мельницы нашли его. Как был в полушубке, так и лежит на правом боку. Уж кто его достиг – ничего неизвестно... Много у нас таких подснежников объявляется по веснам. Ну, Ульяна-то сильно горевала, а потом к святым местам и ушла...